

# НА МАНХЭТТЕНЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ ЭПОХА «МАНХЭТТЕНСКОГО ПРОЕКТА»?



шолтоа

(7 сентября 2001 года в контексте дискуссий о столкновении цивилизаций)<sup>1</sup>

*... Все моря целовали мои корабли,  
Мы почтили сраженьями все берега.  
Неужели за гранью широкой земли И за  
гранью небес вы узнали врага?*

Н. Гумилев. «После победы».

**1. Чем является  
начавшаяся после  
11 сентября  
«война с  
терроризмом» –  
началом  
столкновения  
цивилизаций, его  
очередным  
проявлением или  
чем-то еще?**

Не исключено, что «война с терроризмом» – это война с терроризмом. Не думаю, что поспешное обращение к идее столкновения цивилизаций плодотворно в данном случае, как и в ряде других.

Напряженность в отношениях между культурами, перерастающая иногда в открытые конфликты, – такая же константа социальной организации, как межконфессиональные, межнациональные, межэтнические, межплеменные, межрасовые, межстратовые, межклановые и др. противоречия и столкновения. Участники конфликтов и войн всегда находят, как «объяснить» суть противостояния, апеллируя к тем или иным референтным группам. В разных контекстах те или иные идентификации могут выходить на первый план или отступать в тень. И в наши дни, возможно, кризис как «классовой», так и «национальной» идеологий приведет к усилению внимания к конфессиональным, расовым и пр. оппозициям, которые в действительности никогда и никуда не исчезали, но несколько сглаживались более или менее строгими требованиями, с одной стороны – «пролетарского интернационализма», с другой – либеральной «политической корректности».

Практически любая крупная война или революция эпохи массовых (то есть преимущественно безличностных или, точнее, коллективно личностных) «всенародных» войн и «народных» революций, какими бы ни были ее реальная генетика и ее мифология, в той или иной степени, в том или ином соотношении вовлекала и по-своему сублимировала часть потенциальных конфликтов, одновременно подавляя, деактуализируя другую часть. Сказанное относится и к так называемому культурному (то есть «собственно культурному») фактору, не сводимому к конфессиональным, этническим, лингвистическим и другим элементам. «Культура» в чистом виде, не только не отягченная другими идентификациями, но даже противопоставленная им, собственно, сводится к хронотопу: мифу о времени

<sup>1</sup> Ответы на вопросы журналов «ЮВАПТХУ» (С. В. Михайлов, ), «Общая тетрадь. Вестник Московской школы политических исследований» (Ю. П. Сенокосов,

Ю.А.Гиренко), а также Фонда «Либеральная миссия» (Е. Г. Ясин, И. В. Потоцкий).

Некоторые близкие по смыслу, а также дополняющие друг друга вопросы и ответы на них объединены в «блоки».

и месте, как последних объясняющих (то есть рационально уже почти ничего не объясняющих) обстоятельствах. Она представляет собой остаточную, неоднозначно интерпретируемую совокупность явлений, которая не поддается – возможно, лишь в данный момент – дальнейшему легкому расщеплению на элементарные факторы, позволяющие описывать реальность оптимальным для синхронического подхода способом.

В таком относительно чистом виде «культура» выходит на первый план как повод для более или менее устойчивой самоидентификации в большем числе случаев, чем обычно предполагают. Например, в таких ситуациях, когда речь заходит о различиях, и вообще об отношениях, между москвичами и петербуржцами, германоязычными швейцарцами-католиками и католиками Баварии и Австрии, армянами Армении и Карабаха, гянджийцами и нахичеванцами, сирийцами и иракцами и т. д. Отношениях, точнее всего выражаемых простодушно рецитируемой формулой: «Конечно (в общем, в принципе), наши, но...» К каждому из этих, по сути – очень разных, случаев, как и к большинству других подобных, при желании можно найти более или менее формализованные рациональные ключи, однако чаще всего до этого не доходит. Относительная ненапряженность противостояния просто не требует избыточной рационализации (в смысле – систематической мифологизации) и позволяет обходиться в повседневной жизни довольно случайными и частными ситуационными объяснениями, вроде ссылок на климат, традиции, политику, генетический отбор и т. д., и т. п. С другой стороны, культурной самоидентификации бывает достаточно для поддержания самобытности в той или иной политической или экстраполитической форме, но не достаточно для превращения в средство мифологического оформления конфликта. И тогда с этим трудноопределимым остатком вступают в некую реакцию другие элементы, что сообщает им свойства некоей таинственности и интимности, а ему – формальную жесткость, исключительность и своего рода «массу покоя». Такие синтезы элементов образуются обычно в связи (ответ на вопрос о причинно-следственных связях здесь всегда конкретен) с рождением принципиально нетождественных себе, экспансионистских и, в сущности – эфемерных политических форм. «Мы, французы» десятилетней империи Бонапарта, это, собственно, не те, для кого французский – родной язык (родным он был и для эмигрантов, и для многих шуанов, и для жителей Квебека или Луизианы и т. д.), и даже не все подданные его империи, а только верноподданные, не просто формально исполнявшие революционные законы, но и демонстрировавшие при этом энтузиазм – хотя бы видимый. «Мы, немцы» двенадцатилетнего Третьего Рейха – те, кем не отвергался нацистский культурный комплекс – по крайней мере, открыто. «Мы, советские люди» – не просто представители

русского и других народов, жившие в существовавшем семьдесят три года советском государстве, но такие их представители, которые верили (по крайней мере – должны были верить) не в Бога, а в торжество коммунизма, и не слишком подчеркивали свое этническое происхождение, принадлежность к высшим сословиям и др.

Ни один из перечисленных факторов сам по себе – и менее всего рационализируемый *residuo* «культуры» – до сих пор не мог, как показывает история, стать основой устойчивой политической интеграции социо-экономических систем настолько крупных, чтобы заслуживать названия цивилизаций в сегодняшнем, несколько мегаломаническом смысле. Иными словами, таких, в рамках которых отдельный фактор становился бы принадлежностью исключительно данной системы, причем в своем универсальном, интересубъективном, а не локальном понимании. В то же время, некоторые из них становились почти исключительной идентификационной особенностью некоторых самобытных локальных государственно-организованных сообществ. Не случайно, видимо, Самуэль Хантингтон наряду с «большими» цивилизациями выделяет и «малые», и «субцивилизации», указание на которые в цивилизационном контексте придает всей его концепции некоторое эмпирическое правдоподобие.

Не особенно убедительным выглядит и конструирование *цивилизаций* на основании совокупности этих, некоторых других или даже всех шести, перечисленных Хантингтоном (язык, история, религия, обычаи, институты, а также «субъективная самоидентификация людей»). Надо сказать, *цивилизации* С.Хантингтона поразительно напоминают сталинские *нации* с их когда-то общеизвестными, а теперь многими забытыми «признаками»: общностью языка, территории, экономической жизни и «психического склада, проявляющегося в общности культуры». По объяснимым причинам у автора «Марксизма и национального вопроса», в отличие от автора «Столкновения цивилизаций», в числе определяющих характеристик не найти такого фактора, как религия, хотя «каучуковая» формулировка последнего признака допускала – нисколько, разумеется, к тому не поощряя! – и такое прочтение. У Хантингтона, зато, отсутствует общность экономической жизни (что, в общем, тоже понятно), притом, что такая широкая категория, как институты, объективно не может не включать и ее. Сближение двух «милями и милями» разделенных концепций само по себе не свидетельствует ни о недостатках неожиданно оказавшегося общим подхода, ни о его преимуществах, ни о его новизне, ни о том, что он устарел. И «нация» в сталинском понимании, и «цивилизация» в хантингтоновском обладают таким общим достоинством, как теоретическая очевидность, и таким общим же недостатком, как эмпирическая неуловимость. Понятно, что, попадая куда-нибудь в Киото, Тлакскую, Циндао, Амман или Бостон, мы обнаруживаем, что люди везде

живут «по-другому», более того – еще и по-разному. Весьма вероятно, что и они в сходных ситуациях чувствуют примерно то же самое. Во всяком случае, почти везде, где у меня оказывался собеседник, помогавший мне коротать ничем другим не занятые четверть часа за чашкой кофе, чая или, чаще – за стаканом кока-колы, тема культурных различий, как и культурной близости, почти неизбежно становилась предметом заинтересованного обсуждения, причем не обязательно по моей инициативе. Из ощущения удивительного, а иногда и озадачивающего разнообразия народов и цивилизаций (в весьма узком и приземленном смысле: как форм быта и бытия), однако, никак – ни логически, ни эмпирически – не вывести искомого тезиса. Тезиса о том, что в своей эволюции, в своем поведении, в том числе – во взаимодействии друг с другом, некие предполагаемые общности такого рода должны не только формировать структуру мировосприятия, своего рода «лоцию», необходимую (хотя не обязательно достаточную) для бытового и политического самоопределения, а также «навигации». Они еще должны и объективно вести себя как некие «коллективные личности». Будь то как некие «нации» (в сталинском смысле) или «цивилизации» (в хантингтоновском) с заданными наборами разных, но типологически, функционально сходных качеств. При таком подходе за константу принимается то, что еще следует доказать, и что доказать нелегко. «Превращение» апперцепций *an sich* в их эмпирически релевантные *аналоги* (но никак не гомологические формы инобытия) *fur sich* не является алгоритмически predetermined, создает непрогнозируемые последствия и носит всякий раз уникальный характер. Между той реальностью, которую невозможно не создавать теоретически, и той, на которую до известной степени может влиять практика – эпистемологическая, но также и экзистенциальная пропасть. Можно наводить над ней мосты, к чему в идеале стремятся религия и, по-своему, на основании своего опыта – социальная наука и политическое искусство, видящие именно в этом свой *raison d’etre*. Но можно и заполнять ее артефактами и псевдоморфозами. Последнее решение является «культурным» *par excellence* в узком, облегченном, смысле, и к нему естественным образом тяготеют – и подталкивают истеблишмент – социальные и культурные маргиналы. Именно псевдоморфозы и артефакты, обретающие свою судьбу, рождаются в результате школярского применения на практике различных «классовых», «национальных» и, вероятно – родственных им «цивилизационных» концепций.

...Говорят также, что сегодня главные конфликты генерируются на границах цивилизаций, так же, как вчера они возникали на границах национальных государств и мировых идеологических систем. Это по-своему логично в том смысле, что в данном случае последовательно проводится принцип исторической преемственности в поиске максимально высокого на данный момент уровня

дифференциации. Эмпирические свидетельства, однако, выворачивают эту логику наизнанку. Темперамент, обычаи и нравы обитателей, скажем, некоей зоны «А» (никаких ассоциаций с буквенными обозначениями у Э.Геллнера), проявляющиеся как во внутриэтнических (внутринациональных, внутриконфессиональных, внутрицивилизационных и др.) конфликтах, могут быть в точности такими же, что проявляются в межэтнических – и пр. – столкновениях в этой же зоне и, при этом, отличаться от темперамента и т. д. обитателей условной зоны «Б», когда те конфликтуют как «со своими», так и «с чужими». Отступая на мгновение и на полшага от требований политической корректности: когда в Европе (ограничусь Европой) говорят о «балканской», «кавказской», «средиземноморской», «северной» и др., специфике конфликтов, в последнюю очередь задумываются об их меж- или внутриэтнической, внутри- или межцивилизационной – в терминах сторонников идеи «столкновения цивилизаций» – природе. Где-то и когда-то наиболее катастрофические конфликты возникали там, где им «надлежало» возникнуть, а где-то и когда-то – нет. Иногда главными были конфликты на государственных границах, а иногда – внутри границ. И это притом, что «государство» – при всех проблемах с определением того, что это такое – все же гораздо более конкретное понятие, чем «цивилизация», хотя бы в силу существования формализованного государственного и, особенно, универсального международного права. «Цивилизация», если уж вообще использовать этот термин – это предельное коллективное alter ego: максимально широкий круг, идентифицируемый как «свой» на основании того, что ему будто бы свойственны те или иные «наши» ценностные установки и поведенческие качества. Но реальное наполнение этой категории требует эмпирического, или, если угодно – «номиналистского» подхода. Сторонники идеи столкновения цивилизаций, между тем, приписывают всем «реалистически» (в историко-философском смысле) интерпретируемым общностям свои представления об их идентичности. Конечно, всякая аналогия хромает, однако... Вообразите себе, мы приходим к выводу, что все видовые, родовые и прочие биологические категории в основном изжили себя, и впредь течение жизни на Земле будет определяться только «столкновениями» между биологическими классами: пресмыкающимися, млекопитающими...

**2. Но что же тогда «сталкивается», когда раздаются выстрелы и начинает литься**

Все же вряд ли цивилизации. Их «столкновения» – это как столкновения галактик. Такие катаклизмы, кажется, пока никто не наблюдал. Их, насколько я могу судить как не-специалист, трудно и моделировать. Если уж требуют возобновить ядерные испытания, поскольку современный математический аппарат не позволяет с уверенностью моделировать поведение банального

ядерного заряда мощностью в какую-то сотую мегатонны ТНТ... Это процесс, по времени несоизмеримый с человеческой жизнью, и никто не знает, чем это могло бы быть с точки зрения систем более низкого уровня. Вообще, «цивилизации» (то есть общности, «коллективно осознающие» – что само по себе уже некоторая абстракция, всякий раз требующая конкретизации – свой быт и свое бытие как самостоятельную ценность, не сводимую к ценностям веры или/и происхождения) обычно склонны скорее к охранительности, чем к агрессии. То же самое можно сказать, между прочим, и о «нациях», также никогда – и по той же причине – не вступающих и не вступающих в огневые или рукопашные контакты друг с другом. Иное дело – межгосударственные и межобщинные конфликты, столкновения организованных государственных и негосударственных образований, происходящие, в том числе, и в зонах соприкосновения наций и/или цивилизаций, что иногда сообщает им не только этнический, религиозный и т. д., но и более или менее заметный «национальный» или «цивилизационный» привкус. Кстати, при соответствующей интерпретации такой же привкус может быть даже у элементарных и тривиальных межличностных склоков.

**3. Но нет ли здесь динамики, и не происходит ли именно сейчас вытеснения классических войн и конфликтов войнами и конфликтами какого-то нового, может быть именно «цивилизационного» типа?**

Что такое «классические» и что такое «новые» войны и конфликты? Любые войны происходят, как известно, из-за принципов (при этом, не обязательно – Гаврил Принципов). Чаще говорят о восстановлении каких-то общих норм, нарушенных противником, чем о намерении навязать ему свои или же такие, которые представляют универсальными. Разумеется, объявленные причины войн соотносятся с действительными не менее, хотя и вряд ли более диалектично, чем объявленные причины дуэлей или разводов. Как бы то ни было, однако, ведение войн и дуэлей на основе принципов и по более или менее строгим правилам существенно отличает цивилизованный мир от варварского, а сами войны и дуэли – от побоищ. В последние столетия это по большей части были не столько династические или религиозные принципы, сколько такие, которые в глазах участников конфликта выглядят как свобода доступа государств туда, куда им хочется, как справедливость в распределении каких угодно ресурсов и т. п. На этом фоне и, так сказать, по ту сторону добра и зла, происходили и «побоища» (разные виды межобщинной резни, погромов, народных восстаний, гражданских войн и т. д.). Войны ведутся противниками, принадлежащими к разным конфессиям, этносам, цивилизациям с использованием в значительной степени однотипного оружия и, соответственно, сходных представлений о тактике, оперативном искусстве, даже – стратегии. Разумеется, разброс вариантов велик. Одна крайность – боевые действия между исторически (то есть организационно и культурно, но не цивилизационно) родственными индийскими и пакистанскими, а также армянскими и азербайджанскими, сербскими и хорватскими и т. д. – вооруженными силами. Другая – практически безнаказанное

уничтожение авиации, танков, орудий, укреплений и, отчасти, – живой силы Талибана во всех отношениях превосходящими силами ВВС США. И все же, даже столь разные войны, при всем их отличии друг от друга, все вместе несравненно больше отличаются от конфликтов другого типа: когда сосед является к соседу с мотыгой, мачете или обрезом, чтобы убивать, и с тачкой, телегой или грузовичком, чтобы мародерствовать. «Сценарии», как и всё в мире, нередко, хотя и не всегда, смешиваются, но почти никогда и почти нигде это не отменяет их принципиального различия между собой.

Реальность XX века – регулярные войны между династическими, национальными, идеократическими государствами, в разных контекстах более или менее искренне с большим или меньшим успехом использовавшими цивилизационные мифы. Французский посол в России Морис Палеолог в конце первой мировой войны и финляндский маршал Карл Густав Маннергейм в начале второй мировой употребляли очень похожие слова, когда говорили о цивилизационном характере границы между Финляндией и Советской Россией. С этим, возможно, и сегодня охотно согласятся многие из тех, кто когда-нибудь пересекал ее на поезде или в автомобиле. События обеих этих войн, однако, настойчиво свидетельствуют как о том, что фронты могли и противопоставлять «цивилизации» друг другу, и раскалывать их, так и о том, что понимание того, что такое «цивилизационная граница», весьма субъективно и изменчиво. Основные участники двух мировых войн – о второстепенных известно меньше просто в силу меньшего к ним интереса – красноречиво живописали ущербность цивилизации своих противников и ее несовместимость со своей собственной. При этом границы главных «цивилизаций» в эти критические времена решительно не совпадали с теми, которые делимитировал в конце XX в. Самуэль Хантингтон.

В эпоху «господства идеологий» в реальной – Второй мировой – войне либеральные демократии (не все) оказались в одном лагере с весьма не либеральным коммунизмом, а некоторые отнюдь не тоталитарные режимы – с нацистами и фашистами. «Реальная» геополитика возобладала над идеологиями, как бы ни сокрушались по этому поводу в свое время Хосе Ортега-и-Гассет и Франсиско Франко. Но это прошлое. Однако и в двух крупнейших реальных конфликтах, произошедших уже в период после окончания холодной войны – войне в Персидском заливе и нынешней антиталибской операции – как саддамовскому Ираку, так и талибскому Афганистану противостояли коалиции, в которые входили как западные, так и незападные страны, в том числе – исламские. Самый затяжной и кровопролитный конфликт последней трети XX века, также закончившийся уже после холодной войны – ирано-иракский, развернулся на стыке двух исламских культур, но не двух цивилизаций в хантингтоновском смысле.

Еще один известный тезис – о какой-то особой жесточечности войн, введущихся на межцивилизационных фронтах – также не выглядит безусловно убедительным. Война между Пакистаном и восточно-бенгальскими повстанцами – такими же мусульманами, как западно-пакистанские пенджабцы, белуджи или пуштуны – приведшая к образованию Бангладеш в 1971 г., отличалась незаурядной жесточечностью. В то же время все индо-пакистанские («межцивилизационные») конфликты носили относительно «джентльменский» характер. Все, кроме одного: того, который, собственно, и привел в свое время к образованию Пакистана и его отделению от Индии.

Создается впечатление, что в действительности непримиримых схватках сходятся не какие-то абстрактные цивилизации, как бы их ни определять. Сталкиваются друг с другом те культуры (к чему бы они ни апеллировали в данный момент в поисках идентичности: религии, этничности, культуре, идеологии), которые не соседствуют и не сосуществуют по принципу симбиоза, а претендуют на безраздельное господство в своей «нише» – какой бы тесной или просторной она ни была – сталкиваясь с встречной претензией того же рода. И самыми жесточечными бывали не непременно «межцивилизационные», а гражданские по сути своей войны, когда стороны хотели не обособления и не просто победы с целью перераспределения ресурсов в свою пользу, а полного уничтожения противника – как минимум, культурного. Когда война – это игра с нулевой суммой. Это такие войны, на которых, как сказал А. де Сент-Экзюпери по поводу Испании, «не столько воюют, сколько расстреливают». Как говорилось по этому поводу в одной отечественной песне, «и было тесно для нас и для тех в нашей одной огромной стране»... На «нашу страну» (будь то некая историко-географическая область, историческое государство, весь мир или, как у Гейне, «воздушное царство мечты») могут претендовать общности, разделенные племенной идентификацией, религией, идеологией. Реже – и в современном мире с меньшей остротой (в связи с очевидной «непредельностью конфликта») – утверждаемой этнической идентичностью в узком смысле.

Если же говорить в практических терминах, то остается признать, что интегрирующий фактор максимально высокого – на данный момент – уровня (в хантингтоновском смысле) идеально поляризовал интегрированные на максимально высоком – на данный же момент – уровне системы только однажды. Это случилось в годы так называемой холодной войны. Разумеется – в идеологии в несравненно большей степени, чем в реальной жизни. Однако это и была виртуальная, как теперь принято выражаться, а не реальная, «горячая» война. Та, возвещающая «гибель богов» война между Западом и Востоком (демократией и тоталитаризмом, капитализмом и социализмом и т. д.), которой так никогда и не суждено было стать реальностью. Если распространить этот вывод на нынешнее положение, то окажется, что виртуальные же цивилизационные



войны, по образцу «бесподобной» холодной войны, должны будут поляризовать уже не мировые политико-социальные системы, а, за их отсутствием – какие-то «цивилизации». Конечно, в виртуальной сфере культуры, но не реальной политики (в этой сфере декларированный тезис еще надо специально доказать, а подтверждающие его факты – показать). Что, собственно, самоочевидно. Что, собственно, является тавтологией.

**4. Но если «столкновение цивилизаций» – миф, что лежит в его основе?**

Возникает ощущение, что картина сталкивающихся цивилизаций – политически корректный способ описывать в универсалистских терминах отношения между совокупностью партикулярных человеческих сообществ, где наряду с массой границ и демаркационных линий разных уровней и качеств существует и одна-единственная действительно в некотором (не хантингтоновском) смысле – «цивилизационная». Цивилизационная в том отношении, что она не просто отделяет максимально допустимый круг «своих» от нерасчлененной совокупности постоянно меняющих обличье «чужих» но, при этом, имеет еще и действительно глобальный, а не локальный характер. Это размытая, болотистая, но сущностно значимая «береговая линия» христианского по происхождению и сути, но светского по своей нынешней культурной и политической доминанте, мирового острова. В его пределах, в общем, принят восходящий к идеям Вестфальского мира (хотя полностью сформулированный гораздо позже), принцип политической равноценности различных религий и верований как в межгосударственных отношениях, так – после долгой эволюции – и внутри отдельных стран. Его омывает мировой океан, в котором может происходить что угодно, в том числе и появление новых экзотических верований, и фундаменталистские мутации традиционных. Для части из них принципиально неприемлемо само существование других конфессий, включая и те, к которым «ортодоксальные» религии (речь в данном случае идет об исламе), относятся терпимо. Однако официальная их мишень – светские национальные государства (в том числе и существующие в мусульманских и других формально религиозных государствах) и, тем более, – организованное на тех же светских принципах глобальное, будь то моно- или полицентрическое, политико-экономическое сообщество.

**5. Значит, истинные междивизиационные войны, пусть в ином понимании, пусть только вдоль берегов «острова», все же возможны?**

Междивизиационные войны – *idée fixe* обмирщенного и, при этом, выражающего себя в политкорректных «научных» терминах сознания, возводящего в предел идентификации (не отменяющей идентификаций более низкого уровня) не исповедание правильной веры, а принадлежность своей культуре, возникающей на основании некогда абсолютно ценной веры. Предполагается, что и иные «цивилизации» – по крайней мере некоторые из них – идентифицируют себя на основании такой же логики. Универсалистское

научное сознание по природе своей с трудом может удерживаться от навязывания единой логики всем выделенным на данном уровне понимания «мировым подсистемам». Такова, по крайней мере, его сегодняшняя природа. Однако не очень новая (ей на протяжении последних полутора веков в той или иной мере отдали дань Н.Я.Данилевский, К.Н.Леонтьев, О.Шпенглер, А.Тойнби, не говоря уже об именах меньшего калибра) идея не просто смены, но именно столкновения цивилизаций в буквальном смысле пока что ни разу не воплощалась в жизнь. «Пантюркизм», «пангерманизм», «панславизм», «панмонголизм» (тот самый: «...хоть имя дико...») и т. п. – все это оказывалось мифами локально-утилитарного, говоря по-военному – оперативного-тактического применения. Пока что мне не приходилось слышать (даже от ныне покойного Э.Геллнера) действительно решающих аргументов в пользу того, что «панисламизм» в этом ряду – явление принципиально иной природы.

Собственно, в глубине души современные «островитяне» боятся, конечно, вовсе не столкновений цивилизаций вообще, как новой логики мироустройства, а крушения одной-единственной – собственной, готовой, как кажется, обрушиться под тяжестью накопленных веками грехов, преступлений и ошибок и лишенной той веры и той жертвенности, которые некогда обеспечивали ее экспансию по всем азимутам. И антагониста они видят не в любых других цивилизациях, а в той общности (совсем не обязательно совпадающей с одной из «цивилизаций» по Тойнби или Хантингтону), которая в данный момент выглядит, как потенциально способная занять ее место в мире в качестве доминирующей. Сто с лишним лет назад, в «России Достоевского», когда, по словам Анны Ахматовой, луна была «еще на четверть скрыта колокольней», Константин Леонтьев главную угрозу видел в «каком-нибудь китайском нашествии», то есть в победе народа, воспринимавшегося тогда то ли как неисправимо языческий, то ли как принципиально безрелигиозный. Сегодня, когда Запад сам себя воспринимает как преимущественно безрелигиозное, «постхристианское» общество, такую угрозу связывают, напротив, с экспансией религиозных культур, в настоящий момент в первую очередь – ислама. Не столько террористических «новых технологий» самих по себе боятся сегодня на «острове», сколько – кто-то подсознательно, а некоторые и в полном рассудке и здравом уме – того, что «островитянам» нечего противопоставить жертвенности новых камикадзе, кроме высоких технологий, а эти последние вдруг в некоторых отношениях оказались бесполезными. Иными словами, рассуждая о «столкновении цивилизаций» вообще, чаще всего имеют в виду подразумеваемое ценностное и мотивационное банкротство собственной – «островной». А может быть – даже ее психосоматическую несостоятельность. Кстати сказать, существовавшие до сего дня империи редко гибли или претерпевали цивилизационные мутации лишь в результате поражений во внешних войнах. Чаще

всего они до этого долго и старательно «угощали» – в этимологически точном смысле – своих будущих душеприказчиков, приглашая различных «варягов» и «гастарбайтеров» исполнять военные и гражданские обязанности, с которыми их собственные жители более не желали справляться сами. Случалось также, что чуждая цивилизация побеждала не мечом, а силой проповеди и примера.

## **6. Речь идет об империях или цивилизациях?**

Если вопрос относится к «столкновениям», то вне политического контекста разговор о них в значительной степени вообще лишен смысла. Кипплинговская формула «статуарных» отношений между цивилизациями точна не более и не менее, чем хантингтоновская. «West is West and East is East / And never the twins will meet». В точном,\*" хотя и непоэтическом переводе: «Запад есть Запад, а Восток есть Восток, и никогда не встретятся близнецам» (подразумевается, очевидно – сиамским). Распада как традиционных империй, так и идеологических «блоков» еще недостаточно для признания цивилизационного фактора определяющим конфликтогенным, если можно так выразиться, началом там, где все в той или иной форме воюют со всеми по всем поводам. Чтобы победить именно в качестве цивилизации, какая-то политическая система должна осознать себя носителем таковой. Чтобы завоевать кого-то (а не просто подобрать чье-то, по сути, бесхозное наследие), этой системе должно быть свойственно ощущение миссии. Если же говорить в этом контексте о столкновениях цивилизаций, то сталкиваются не они, а построенные в их рамках «боевые машины», часто плохо совместимые не только с чужими цивилизациями, но и со своей собственной.

## **7. Речь, собственно, и идет о таких новых конфликтах, в которых принимают участие, с одной стороны, слабеющие в условиях глобализации национальные государства, а с другой – нетрадиционные негосударственные, но при этом вполне боеспособные**

Насколько новое явление – конфликты между государствами и негосударственными структурами? Хотя все основные мировые конфликты, в том числе военные, всегда начинались в пределах «острова», они в той или иной степени волновали непостижимый и уже тем страшный «океан». К началу XX века он был почти полностью поделен между тогдашними великими державами и более или менее формально контролировался ими. При этом на «мировой остров», в особенности на его агентов в своих странах, в последние два века постоянно покушались, если можно так сказать, те или иные «талибы» разного рода и звания, как правило, вдохновлявшиеся идеями радикальных сект разных религий. В последние полтора века такие «талибы» назывались по-разному: бабиды в Персии, сипаи в Индии, тайпины и ихэцзюани в Китае, другие движения, в которых была сильная фундаменталистская составляющая. Все они апеллировали к своеобразно понятым и усвоенным религиозным ценностям или даже вдохновлялись ими. Вообще, любопытно перечитать под этим углом зрения всю историю так называемых «национально-освободительных движений» XIX-XX вв. В целом, «мировой остров» со всеми этими вызовами пока более или менее успешно справлялся. Для борьбы против

тайпинов и ихэдунай (наследников ихэцзоаней) были организованы масштабные международные экспедиции. Эти примеры не вызывают никаких ассоциаций? Именно тогда появились и идея «желтой опасности» (исламский мир в период его упадка, начавшегося Реконкистой и завершившегося крахом Османской империи, не рассматривался в качестве серьезной угрозы), и мысль о том, что «мировой остров» не вечен, и многие другие концепции и фобии, ставшие впоследствии неполиткорректными.

Можно, если угодно, назвать это оппозицией вечного Рима и вечного мира. Или мирового города и глобального «сельского» мира. Или всемирного Вавилона – как угодно. С традиционно геополитической точки зрения проблема с этой «мировой Лапутой» (по Джонатану Свифту) в том, что невозможно ее точно локализовать. Если центры конфессий, светской культуры, военно-политической и экономической власти более или менее определяются в пределах острова, то пределы их влияния далеко не всегда совпадают друг с другом, что ведет ко многим недоразумениям. В ряде отношений границы «мировой Лапуты», ее *fines terrae*, могут оказываться как гораздо дальше, так и гораздо ближе к ее центрам, чем это обычно представляют. Иногда они могут проходить даже через сами эти центры.

Сегодня мы наблюдаем, как мне кажется, очередное возмущение на границах острова. Оно произошло на фоне в целом вялотекущей, как бы тлеющей «мировой войны всех против всех» на его периферии. Однако при этом, даже если абстрагироваться от крупных геополитических, так сказать – «тектонических» сдвигов в отношениях между «островом» и «океаном», оно отличается от предыдущих двумя важными обстоятельствами. Оба имеют отношение к технике.

Во-первых, как весьма наглядно показал всем Манхэттен в 2001 г., единичный и локальный террористический акт, кто бы ни был его инициатором и где бы он ни был совершен, может провоцировать события не только национального, но и глобального масштаба. Последовавшая за воздушной атакой «проба» бактериологического оружия – связана она генетически с событиями 11 сентября или нет, в этом или в чем-то другом состояла ее цель – не могла не закрепить присутствие нового артефакта в сознании всех причастных к тому миру, где прогнозируются, планируются и совершаются политические действия. Это заставляет предположить, что мы, возможно, являемся свидетелями очередной информационно-технической революции особого рода, сопоставимой по влиянию на общественную и политическую жизнь с той, которую совершил в свое время Самуэль Кольт. Его выдающееся изобретение, соответствующим образом разрекламированное, как известно, уравнило всех в быту. И, в частности, сделало индивидуальный террор общедоступным занятием, вполне по силам курсисткам,

акушеркам, гимназистам. А также повысило «статус» и самооценку даже тех, кто в действительности не вооружен, но теоретически – кто знает – может иметь с собой револьвер. И, наконец, заставило общества, в которых такой террор стал привычным явлением, выбирать между принятием засилья полицейских учреждений и обычаев – реакцией на терроризм – и протестом против «полицейщины», временами входящим в резонанс с терроризмом.

Во-вторых, процессы, обобщенно называемые «глобализацией» (по крайней мере, в той их составляющей, о которой говорил в свое время Маршалл Маклюэн), создают гораздо больше возможностей, чем прежде, для информационного сплочения неопределенно широких сообществ на основе той или иной идентификации (любопытен в этом смысле прецедент, созданный деятельностью «общесарабского» агентства «Аль Джазира»). Идеи всегда обладали способностью овладевать массами, правда, обычно – ценой утраты первоначального содержания. Нельзя вовсе исключать, что в некоторых ситуациях могут возникать реальные, а не только виртуальные противостояния, обретающие квазицивилизационный характер. Теоретически можно даже предположить, что возникнет какое-то политическое образование, которое решится бросить «острову» принципиальный, а не только ситуационный (солидарность с Палестиной и т. п.) вызов. Которое противопоставит его властям и, главным образом, его гетерогенным обществам – в их реальном, а не идеализированном состоянии – не только силу, не только догматы своей веры, но и свой культурный идеал и свой «цивилизационный» пример, основанный на бескорыстии и «серийной» жертвенности. А также – возможно, в сочетании с ними – крайний прагматизм и предельную нравственную и теоретическую гибкость. То есть те качества, которых в нашей отечественной истории недоставало для успеха эсерам, и которые отличали большевиков. Думаю, впрочем, что пока о реализации такого сценария говорить несколько преждевременно. Во всяком случае, «Аль Каида» (обсуждение вопроса о роли этой своеобразной организации в событиях 11 сентября оставляю тем, кто лучше информирован на этот счет) и другие существующие сегодня сообщества подобного рода вряд ли подходят на роль «цивилизационных революционеров» глобального масштаба. Даже если их боевики, в том числе самоубийцы – шахиды, способны похищать людей, взрывать посольства, эсминцы и, в конце концов, действительно организовать массированный налет на «знаковые», как теперь принято говорить, центры силами гражданской авиации, воздушные суда которой уже давно стали излюбленными объектами захвата со стороны всевозможных террористов.

В рамках этого сценария субкультура, рождающаяся на почве ислама и в зоне его распространения, многим кажется предпочтительным

кандидатом на роль антисистемного организатора, однако исламский мир, по-прежнему, глубоко расколот конфессионально, этнически и политически. До того, чтобы наяву реализовался сценарий «clash of civilizations» еще надо, так сказать, догрешиться, в том числе, возможно, и исламскому миру. Для этого надо еще не только «выдать техническое задание» на цивилизационный миф, но и создать его, и воплотить его в жизнь...

**8. ...И все-таки: роль традиционных национальных государств меняется, возможно, они перестают быть главными «игроками» в мировой политике...**

...Роль государства сегодня в известной степени напоминает роль семьи в современном обществе. Вообще говоря, семья и государство всегда были изоморфными сущностями. Семье в наши дни грозят все новые и новые вызовы. У нее есть противники и противницы. Роль отца семейства давно и постоянно уменьшается и оспаривается, как, впрочем, и традиционная роль обоих родителей. Все больше семей распадается – но пока что это означает главным образом то, что тем сложнее создавать и сохранять семью, и только. И еще: почему мы постоянно говорим о национальном государстве, как будто на нем свет клином сошелся? Подозреваю, что «национальное» государство точно так же никогда не являлось и не является ни высшей, ни последней, ни исключительной формой государства, как не было им государство «социалистическое». Боюсь, что государство – более гибкая, более живучая, в каждый данный момент – более полиморфная структура, чем мы обычно считаем.

**9. Однако при всем этом соотношении между «островом» и «океаном» изменяется, как Вы сказали,**

Относительно упорядоченная с середины XVII в. система отношений время от времени взрывалась изнутри – вспомним и войны XVIII в., и наполеоновские войны, и мировые, и локальные конфликты – но все-таки восстанавливалась как система, основанная на все том же признании равнозначности или равноценности различных верований и политических культур. Эта система напоминала своего рода оркестр. В какой-то период, ее, собственно, и называли «концертом держав» – правда, не обязательно в силу музыкальных ассоциаций. В этом «оркестре» у кого-то в тот или иной момент была постоянно оспариваемая партия первой скрипки, была вторая скрипка, были альты, виолончели, контрабасы и множество других инструментов. Представьте себе большой симфонический оркестр, у которого, впрочем, никогда не было дирижера, хотя претендентов на эту роль в каждый момент истории было немало. Оркестр организовывался сам, как мог, каждый играл более или менее профессионально – хотя все вместе в целом плохо – однако все же играли, по крайней мере, когда ведущие оркестранты не сражались друг с другом за передел инструментов и партитур. Всем остальным отводилась роль слушателей, временами невольных и иногда даже принудительно доставленных в концертный зал. Слушатели всегда пытались

протестовать, устраивая кошачьи концерты, организуя альтернативные джаз-банды, этнические ансамбли, швыряя на сцену и в оркестрантов разные более или менее неподобающие предметы и т. д. Сегодня и публики в зале стало больше, и ведет она себя увереннее, пытаясь – пока безуспешно – заглушить оркестр.

**10. Но теперь у «оркестра» появился дирижер, и от страха оркестранты заиграли, как**

Вначале, все-таки о самой «концертной площадке». Повторяю, «остров» все последние десятилетия и столетия взрывали, главным образом, внутренние противоречия, в которые по-своему вплетались и вызовы из цивилизационного «зазеркалья». При этом в XIX и XX веках его постепенно размывали волны политической и экономической деколонизации. Сегодня гегемонии «мирового острова» брошен очередной, более внушительный, чем прежде, в силу технико-культурных обстоятельств, военно-политический вызов. Однако нельзя исключить, что мы стоим и у более важной развилки – бифуркации, как теперь любят выражаться (и не только последователи И.Пригожина) – чем та, которую обозначает этот вызов. Есть три фактора, помимо уже упомянутых «технических», которые позволяют хотя бы теоретически допустить возможность схода, используя астрономическую аналогию, не только с околоземной, но и с околосолнечной орбиты «вечных возвращений», и серьезно готовиться к рассмотрению в обозримом будущем – наряду с более или менее традиционными – и сущностно иных сценариев.

Первый фактор – некая унификация культуры мирового острова, секуляризация в самом широком смысле слова, критическое уменьшение разницы «энергетических потенциалов» между различными его частями. Вследствие этого сегодня, грубо говоря, нелегко разжечь масштабный конфликт внутри оркестра, перспектива которого заставляла его участников постоянно быть в форме. Традиционно здесь противостояли друг другу энергичные, как бы постоянно мобилизованные государства, вовлекавшие в борьбу друг с другом и различные сегменты мировой периферии. Сейчас этого нет. Россия – последний диссидент, который на наших глазах добровольно вступил в этот оркестр, по крайней мере – продемонстрировал готовность сделать это.

Второй фактор. Разница потенциалов между островом и тем, что находится за его пределами, существенно уменьшается. Я имею в виду не уровень богатства, потребления ресурсов или технической обеспеченности повседневной жизни (здесь картина совсем иная), а, если можно так сказать, культурно-демографический потенциал. Раньше «остров» выглядел как огромный, единственный на планете материк, своего рода политико-культурная Пангея. Он как бы физически и символически, а не только политически, доминировал в мире. Здесь были относительно крупные страны (посмотрите статистические данные и оценки начала XX

века), которые окружала главным образом «спящая», пассивная, нецивилизованная, политически несамостоятельная периферия, население которой толком никто не подсчитывал, но принято было исходить из того, что в целом она уступала острову, даже если фактически это был миф. В последние полвека элементы этой периферии обретают реальный, а не мнимый – и притом, значительный – демографический вес и всё более узнаваемую внешность. Они все активнее присутствуют в мировом информационном пространстве, вопреки всем застольным разговорам о том, что в эпоху глобализации периферия за пределами стран «золотого миллиарда» перестает быть интересной. Видимо, смотря в каком смысле. Роли объекта инвестиций и источника адреналина для всё более массовой аудитории в основном различны. Подавляющее большинство «островитян» сегодня обладает более широкой (хотя, возможно, и не более глубокой), а также менее европоцентрической образованностью, чем их родители и прародители. Периферия перестает быть не только для специалистов, но и для публики нерасчлененным целым, и как те, так и другая все чаще различают, или думают, что различают, в ее составе матрицы древних развитых культур. Как сказал однажды Марк Блок, древние цивилизации сбросили свои саваны, и огромные массивы человечества вышли из мглы. Просвещение публики происходит в течение жизни двух, максимум – трех поколений. Не в этом ли обстоятельстве – одна из важнейших причин удивительной популярности концепции «столкновения цивилизаций» в самых неожиданных слоях общества? Мне однажды довелось участвовать в диспуте на эту тему с водителем такси в одном райцентре, и базовые тезисы моего собеседника, если вынести за скобки эмоциональность и некоторую перегруженность примерами из повседневной жизни, в сущности, мало отличались от доводов многих участников академических дискуссий в разных странах. С другой стороны, и на мировой «периферии» сегодня гораздо больше по-западному (в современном смысле) образованных людей, способных общаться с «островитянами» на их все более простом и доступном языке. Даже с большей легкостью, чем с людьми своих более традиционных культур. И в это же время, периферия все активнее и заметнее наступает на «остров» и даже начинает его захлестывать. Он «подтапливается» как хорошо, так и плохо ассимилируемыми и адаптируемыми миграционными потоками.

Третий фактор. Периферия обзавелась оружием массового поражения. Там есть ядерные державы и те, кто обладает способностью производить биологическое и химическое оружие. Разница потенциалов в этом отношении, важном для символического, не обязательно реального, «последнего боя», как бы уменьшается. В этом смысле, технологическая (в предельно широком значении слова) подготовленность периферии к столь же символической



игре с «островом» на равных на «поле боя судебного дня» относительно растет. Разумеется, менее апокалиптические сценарии могут показать, и показывают на практике, что в их ограниченных рамках все может выглядеть совершенно по-иному. Но это другая история и другое измерение. Имея сравнительно скромный ядерный потенциал и уступающие американским по качеству обычные вооружения и ВПК в целом, СССР (скажем – во времена Н.С.Хрущева) претендовал на стратегическое равновесие с США. Так было потому, что в конфликте максимально высокого уровня, если бы до того дошло, СССР способен был нанести потенциальному противнику неприемлемый ущерб. А если бы и вправду дошло? Создается впечатление, что с тех пор количественное наполнение понятия «неприемлемого ущерба» если и изменилось, то не в сторону увеличения. Преимущественно в этом ряду надо, видимо, рассматривать и появление таких методов и технологий нанесения физического и морального ущерба противнику, которые позволяют приравнять – с точки зрения демографических, экономических и психологических последствий – банальный террористический акт к небольшой, по масштабам прошлого столетия, но настоящей войне. Эти изменения заставляют по-новому ставить вопрос и о военно-политической роли Соединенных Штатов. Собственно, он и ставится в самих США – хотя бы в форме до недавнего времени несколько нервно и, на взгляд ряда специалистов, не вполне адекватно формулировавшейся проблемы создания новой системы противоракетной обороны. Как бы то ни было, похоже, что в последнее время «российский фактор» впервые действительно, а не только на словах, перестал всерьез влиять на стратегическое планирование в этой области и отошел на второй, если не на более дальний план в сравнении с другими. В ситуации с ПРО Россию, при всей благодарности нам за посильный вклад в публичное наказание талибов, в расчет совершенно не принимают, даже из вежливости. А в ситуации с СНВ, в прошлом – ключевым звеном системы поддержания стратегической стабильности в мире, готовы идти едва ли не на любые уступки. Скажите только – демонтируем ядерные боеголовки хоть в одностороннем порядке, без всякого договора. Не доверяете нам – извольте, или отправим на склады, уничтожим их, подписав какой-нибудь договор...

**11. Однако именно США стали «дирижером мирового оркестра»?**

Соединенные Штаты в любом случае располагаются на острове и являются частью оркестра. Дирижер ли они? В данный момент они играют эту роль, не слыша возражений. Но даже в самих США существуют, насколько я могу судить, две достаточно разные точки зрения на роль этой страны в мире, причем представленных и внутри сегодняшней администрации. Там существуют сторонники доминирования Соединенных Штатов и сторонники

их лидерства, что не совсем одно и то же. Своего рода негласный компромисс между ними выражает формула, получившая некоторое распространение в вашингтонских кругах: в обозримом будущем мир ожидает «многополюсная однополярность.» То есть, в штате оркестра появляется некто, более всего напоминающий дирижера, притом, что постоянные репетиции, в общем – не его хобби и не его задача. Я думаю, что этот гибкий компромисс и эта (или какая-то аналогичная) несколько расплывчатая, но все-таки задающая некие рамки, формула имеют сегодня для Вашингтона достаточно принципиальный характер. За обеими позициями стоят традиции и предубеждения, политико-культурные ориентации, конstellации интересов, политические обязательства и т. д. Однако, смогут ли Соединенные Штаты сыграть выбранную ими для себя и постоянно согласовываемую внутри страны роль, зависит, конечно, не только от них.

**12. На «островные» порядки посягают сегодня не только внешние силы, но и внутренние. Речь идет в первую очередь о так называемых «антиглобалистах». В какой степени эти два явления взаимосвязаны или являются взаимодополняющими?**

Современный мир легче воспринимать «по-Марксу», чем когда-либо в XX веке, кроме самого его начала. Две исторические попытки вырвать его из глобальной капиталистической парадигмы – коммунизм и нацизм (один был вызовом капитализму, другой – интернационализму, притом, что они обменивались идеями) по очереди закончились крахом. То, что приходит на смену – не мир свободы, равенства и братства, а мир исключительности и исключенности, мир центра и периферии в мировом масштабе. Он принципиально отличается от мира начала века тем, что если тот пытался интегрировать периферию, то этот экономически ее изолирует. Экономически он самодостаточен. Складывающаяся новая система мирового устройства, отчасти напоминающая ту, которая формировалась перед Первой мировой войной, отчасти – совершенно на нее не похожая, испытывает, разумеется, более или менее серьезные внутренние напряжения и внешние вызовы. Антисистемный проект сегодня не может ориентироваться на пролетариат, как во времена Маркса или на интеллигенцию, как у новых левых.

«Антиглобалисты» – слишком широкая категория. Мне кажется, сегодня можно говорить об антиглобалистах в широком и узком смысле. В узком – это те преимущественно молодые люди, которые под предельно расплывчатыми лозунгами устраивают агрессивные манифестации главным образом против форумов ведущих международных экономических организаций. Они – прямые наследники «антисистемщиков» 60-70-х гг., от которых их отличают четыре главные особенности. Во-первых, это сообщество изначально сложилось как космополитическое и, притом – постоянно мигрирующее, что является следствием очевидных социокультурных сдвигов 80 – 90-х гг. Во-вторых, оно сосредоточило свое внимание на международных институтах и мало озабочено

национальными и региональными проблемами своих стран. В-третьих, они столь же мало озабочены поисками или разработкой какой-то идеологии. В-четвертых, антиглобалисты весьма умело используют ведущие мировые средства массовой информации (не заводя, насколько известно, своих «партийных»), время от времени создавая крупные «информационные поводы». Очевидно, что все четыре особенности тесно связаны друг с другом.

В широком же смысле международной системе оппонируют изнутри нее не только эти наследники луддитов и «героев» 1968 года, для кого очередной цивилизационный виток может стать шоком: вызовом, брошенным традиционным гуманистическим *ценностям, уходящим корнями в европейское возрождение*, но и другие группы и течения. Это, например, активные приверженцы традиционных *религиозных ценностей*, для которых неприемлемы как некоторые технологические новшества сами по себе, так и связанный с новыми технологиями образ жизни. Это *националисты*, регионалисты и «локалисты», не приемлющие как потери контроля над своей территорией, так и неизбежного в результате «смешения языков». Потенциал радикального национализма, в возможном сочетании с радикальным же фундаментализмом, возможно, еще не исчерпан. После Второй мировой войны в Европе и за океаном эта часть политического спектра была искусственно цензурирована. И этот, своего рода, сокровенный психополитический склад ядерных отходов может взорваться. Известный «казус Хайдера» в Австрии может оказаться не уникальным явлением, а первым предупреждением для глобализирующегося мира. Несистемны по сути своей традиционные и новые *меньшинств* а – общины, обладающие культурным своеобразием, не до конца интегрированные в доминирующую культуру стран, где они живут, и плохо адаптирующиеся к быстро меняющимся реальностям. К потенциальным «антиглобалистам» в широком смысле можно отнести социальные движения, которые могут возникнуть для защиты интересов тех наемных работников или/и собственников, которые теряют от экономических последствий глобализации. Наконец, в оппозиции к некоторым аспектам глобального развития могут оказываться и отдельные правительства (не исключая и самых влиятельных, в том числе правительства США), а также власти различных уровней, которые в какой-то момент могут оказаться не удовлетворенными итогами глобализации, в том числе расходами, которые приходится нести на поддержание нового мирового порядка.

В принципе возможны разные сценарии взаимодействия антиглобалистов и внешних по отношению к «острову» сил. Живым свидетельством возможности одного из вариантов сближения первых и вторых внутри самой системы оказался в свое время бывший коммунист-диссидент Р. Гароди, в итоге своей долгой и

нетривиальной духовной эволюции принявший ислам. Однако, если говорить серьезно, то речь в обозримом будущем может идти не столько о сближении двух тенденций, сколько об общей направленности их действий, цель которых – ослабление и подрыв «глобальной системы», в том числе в ее борьбе с внешними противниками. В данный момент я не стал бы переоценивать их эффективности, однако не следует забывать, что в 1970-х гг. антивоенное движение в США внесло немалый вклад в деморализацию властей и общества и, в конечном счете – в поражение Соединенных Штатов во Вьетнаме. Нельзя, впрочем, забывать и о том, что тогда это происходило в биполярном мире, и противники США поддерживались СССР. Сегодня новые вызовы будут, несомненно, испытывать глобализирующуюся систему на прочность, однако едва ли в обозримом будущем смогут разрушить ее, если только решительный вызов ей не будет брошен изнутри. Причем со стороны не второстепенных и маргинальных, а самих конституирующих ее элементов, которые в очередной раз не сумеют создать гибкую надежную систему поддержания долгосрочной стабильности в мире.

**13. Что изменила в мире террористическая атака 11 сентября 2001 г.? Чего добились ее организаторы?**

В сущности, мы очень мало знаем о причинах и обстоятельствах произошедшего 11 сентября и, возможно, никогда не узнаем всего. Организаторов любых террористических актов, если только они сами сразу же демонстративно не «представляются» средствам массовой информации, найти и даже идентифицировать бывает очень трудно, если это вообще удастся, будь то в Москве или Волгодонске, Нью-Йорке или Вашингтоне. Впрочем, конкретные механизмы «запуска» многих исторических событий, в том числе и не связанных с терроризмом, остаются неизвестными, что не избавляет нас от необходимости анализировать логику спровоцированных ими событий. Она, кстати, далеко не обязательно соответствует замыслам организаторов. Причина, вызвавшая сход лавины, может быть какой угодно, но эта лавина становится событием сама по себе, независимо от конкретной причины, и имеет свою логику (отчасти прогнозируемую), свои близкие и отдаленные последствия и т. д. Произошедшее 11 сентября выглядит сегодня не как единое событие, а, скорее, как коллаж более или менее очевидных значимых фактов. В любом случае это незаурядная трагедия, влияющая (и уже повлиявшая) на психологию нации, и не только на нее, и вызвавшая к США волну симпатии во многих частях мира, включая Россию. Это также и обескураживающее свидетельство неэффективности государства в борьбе с подобными покушениями (кем бы они ни совершались) на безопасность граждан и государства. Это событие, которое актуализировало (входило это в замыслы организаторов, кем бы они ни были, или явилось следствием их просчета) абстрактную

концепцию «конфликта цивилизаций» по линии «запад/мир ислама», придав ей некоторое виртуальное правдоподобие. Но это еще и новое событие в весьма специфическом ряду других подобных: настораживающих системным нарастанием угрозы в связи с постепенной потерей легитимного контроля над происходящим. В Хиросиме была продемонстрирована технология, способная по воле правительств уничтожать целые города и страны, а потенциально – хоть все человечество. В Чернобыле мы увидели, что потенциально разрушительная техника может выйти из-под контроля своих создателей. Сейчас раздался третий звонок. На Манхэттене нам показали, что она может выйти из-под такого контроля по злой воле людей, не имеющих права ею распоряжаться. Наверное, пройдет какое-то время, и об этом будут вспоминать, как мы сейчас вспоминаем о ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки или о Чернобыльской аварии. В свое время оба события воспринимались как непоправимые и необратимые катастрофы. Однако со временем оказалось, что и с этим можно жить тем, кто выжил. Так, как можно жить с ревматизмом.

И еще одно: в любом случае, мир «Манхэттенского проекта» (то есть программы создания ядерного оружия), в котором США несколько лет лидировали безусловно, потом сорок лет делили первенство с СССР, а затем на десятилетие вернули себе превосходство, рухнул. «Манхэттенский проект», приведший к капитуляции Японии в сентябре 1945 г., закончился в сентябре 2001 г. на Манхэттене. История знает странные совпадения. США, разумеется, остаются неоспоримо первыми. Именно «феномен 11 сентября» позволил им зримо продемонстрировать всем еще сомневающимся, кто есть кто в сегодняшнем мире. Более того – и это принципиально важно – предъявить доказательства нового первенства в новом мире. Явить миру свидетельство доминирования сверхдержавы, делом доказанного при помощи нового обычного оружия в конфликте нового, единственно актуального ныне типа, а не достигнутого в результате ослабления (и то лишь относительного, хотя и существенного) другой сверхдержавы в парадигме старого, все менее актуального ядерного противостояния. Я не взялся бы утверждать, что прагматики в США и на Западе в целом всегда стремились именно к такому исходу. На рубеже 80-90-х гг. (о предшествующем периоде здесь не говорю) их, в общем, скорее устраивало сохранение СССР в качестве сверхдержавы со своей сферой ответственности в мире на неопределенное время. Кстати, именно тогда тот же проф. С.Хантингтон, еще до того как он стал автором концепции «столкновения цивилизаций», подчеркивал опасности, связанные с возможным размыванием биполярного мира. В начале 1990 г., на одной конференции в Польше, только что переставшей к тому моменту быть Польской Народной Республикой, мы даже выдвинули (не на пленарном заседании, а за ужином) совместную

инициативу учреждения Всемирного экологического комитета по спасению исчезающих сверхдержав. Не только из этой затеи тогда ничего не получилось, и в 90-х гг. стало ясно, что символический потенциал как одной из двух сверхдержав, так и блокового противостояния, полностью исчерпан. С этим результатом мир подошел к 11 сентября, притом, что инерция противостояния отчасти сохранялась. Все произошло почти в точности по Гегелю: «Голый результат есть труп, оставивший после себя тенденцию». Новая ситуация позволяет США разом избавиться и от «трупа», и от «тенденции». Точнее – подталкивает их к этому, а весь остальной мир, включая Россию, к тому, чтобы смириться с этим, что, собственно, российское руководство и демонстрирует.

При этом те же Соединенные Штаты объективно все меньше способны контролировать мир вокруг себя в повседневном режиме. В перспективе маячит образ слона (речь в данном случае не идет о символе правящей республиканской партии), не боящегося тигров, но предпочитающего не связываться с мышами. Пока, впрочем, он демонстрирует готовность гоняться за ними. Более трети века тому назад – еще до вьетнамской катастрофы – сенатор У. Фулбрайт назвал базовую внешнеполитическую установку Соединенных Штатов «самонадеятельностью силы». Сегодня, похоже, мы наблюдаем то, что можно было бы определить, как «самоутверждение силы». Действительной силы, однако не знающей (и не могущей знать) насколько она сильна в новых играх, где действуют новые правила. Весьма вероятно, что США уже давно, по меньшей мере – десятилетие, выступали не вполне в том качестве, в каком многие видели или/и хотели их видеть. Однако и они сами, и, главное, мир, играли вначале в «биполярность», а затем в «однополюсность». Играли в основном искренне. В будущем, возможно, играть будут с меньшим простодушием, хотя, не исключено, что с еще большей готовностью.

#### **14. Как будет вести себя в этой ситуации американская политическая элита?**

Хотелось бы получить ответ на этот вопрос от нее самой... На мой взгляд, она находится сейчас на распутье или, по крайней мере, не может не ощущать, что находится именно там. Талибан на афганской территории на данном этапе разгромлен и, видимо, отчасти разложен изнутри, но корни явления, с которым связывают террористические акты 11 сентября, так и не выявлены. Драма преследования и ловли Усамы бен Ладена, поставленная командой Дж. Буша-младшего в Вашингтоне, производит сильное впечатление, но у нее пока нет финала, и нет катарсиса. Если это победа, то как выглядело бы поражение? Если это неудача, то как должен выглядеть успех? С кем и как бороться дальше? Будет ли это борьба с террористами, терроризмом или война с силами, генерирующими и поддерживающими терроризм? До какой степени четким окажется определение того, в чем состоит различия и

какова связь между терроризмом, экстремизмом и фундаментализмом, между исламским фанатизмом и радикальным исламом? И как должен был бы выглядеть мир после победы? Все это теоретические вопросы, на которые пока не дано ясных практических ответов. Никто пока не знает, к кому за ними обращаться, и будут ли они даны когда-либо вообще. Это может показать только практика, только реальный ход событий. Это одна сторона медали. Есть и другая. Некоторое время назад от одного известного американского интеллектуала я услышал историю про не менее известного генерала, который накануне войны в Заливе решительно потребовал от коллег во избежание неясности договориться, как все же впредь единообразно транслитерировать название страны, избранной в качестве объекта атаки – «Иран» или «Ирак». Думаю, во всяком случае, надеюсь, что это архетипический анекдот из серии «про военных», но что-то не позволяет мне полностью удовлетвориться таким объяснением. В разгар антиталибской кампании в «Washington Post» была опубликована неподписанная, естественно, статья, в которой доказывалось, что главные враги Соединенных Штатов – отнюдь не «Аль Каида» и талибы, и даже не привычные уже в качестве недругов Ирак, Сомали, Йемен и Иран, а Саудовская Аравия и Египет. Потому, что именно эти страны не просто поддерживают террористов, а «взращивают» фундаменталистские силы. Их режимы выдают себя за друзей Америки, будучи на деле ее врагами, поэтому главный удар нанести следует по ним. Логика, в общем, несколько военно-полевая и выводы, соответственно, тоже, хотя не надо заблуждаться – сделаны они на основании вполне правдоподобной большой посылки. Совершенно нельзя исключить, что экстремисты и террористы подпитываются, вольно или невольно, и этими, а также некоторыми другими странами. Как в этой ситуации будут действовать Соединенные Штаты? По кому следующему они нанесут удар? Каков здесь критерий выбора? Каким образом они будут добиваться намеченных целей? Это мне неизвестно, и я могу лишь надеяться, что американские политическая и военная элиты знают, что делают. Теоретически можно удовлетвориться нынешним разгромом талибов и «Аль Каиды», можно объявить им вечную символическую войну (что-то вроде относительно обязывающей клятвы о недопущении возрождения фашизма где бы и когда бы то ни было после второй мировой войны), можно по очереди низвергать актуально и/или потенциально враждебные США режимы, а можно и втянуться в неопределенную по времени, масштабам и критериям вселенскую борьбу с мировым злом в лице «радикального ислама» или даже «антизападных фундаменталистских движений». Все это очень разные сценарии с разными последствиями для России. И все это надо воспринимать на фоне очевидных нежелания или неготовности американцев рисковать жизнями своих соотечественников.

## 15. Что в этой ситуации будет делать Россия?

Это обратная сторона медали, что звучит в этом контексте почти, как обратная сторона Луны... Осенью 2001 года наступил конец, условно говоря, девяностых годов с характерным для него неустоявшимся, переходным состоянием международных отношений. Мир, как организованная система, если воспользоваться компьютерной терминологией, в это десятилетие «завис», и на макрополитическом «дисплее» устойчиво воспроизводилась картинка, все меньше отвечавшая подспудно накапливавшимся напряжениям, потребностям, ожиданиям. События 11 сентября и реакция на них в мире подвели более или менее решительную черту под состоянием не то «холодного мира», не то «прохладной войны» – бледного призрака войны «холодной», время от времени возрождавшегося, вопреки всем заклинаниям, в отношениях между Россией и США.

Этому способствовало, конечно, если не прекращение к этому моменту, то постепенное ослабление инерции прежнего идеологического противостояния, однако это не решающий фактор. При неблагоприятных обстоятельствах такая инерция могла бы еще неопределенно долгое время сохраняться, постепенно переформируясь (продолжаю использовать компьютерные метафоры) и – как результат отчасти сознательных манипуляций – замещающаяся модной «междивилизационной» напряженностью.

Важным, хотя также не решающим обстоятельством, было и исчезновение в отношениях двух стран на нынешнем этапе ряда раздражителей. В первую очередь – особо опасного «югославского фактора». Речь идет о затянувшемся противостоянии по отношению к комплексу югославских проблем, во многом – хотя далеко, далеко не исключительно – созданному уже два года назад свергнутому в Сербии национал-коммунистическим режимом. Именно этот комплекс, между тем, в первую очередь и был способен послужить трансформатором прежнего идеологического противостояния в новое – квазидивилизационное. Редемаркация линии виртуального фронта, переключение коннотаций такой мифологемы, как «восток» (в конфликтной паре «восток / запад»), с «коммунистической системы» на «православное славянство», теоретически могли сыграть – на какое-то время – роль самооправдывающегося прогноза. Модные в тот момент идеи С.Хантингтона, став руководством к действию, могли подтвердить сами себя примерно в том же смысле (если не в тех же масштабах), в каком в свое время практическое творчество Ленина, Сталина, Тито и Мао Цзедуня «оправдало» творческие искания Маркса, Лассаля, Энгельса и Каутского. Как бы то ни было, эта бомба замедленного действия в российско-американских отношениях не взорвалась. Сохраняется, однако, еще множество других проблем, которые не позволяют прогнозировать безоблачное будущее в отношениях между двумя странами: Прибалтика и НАТО, Иран, Ирак, Северная



Корея и т. д., не говоря о постоянно возникающих новых более или менее серьезных трениях.

Главным, в сущности, оказались не эти два по-своему важных обстоятельства, а то, что у двух государств, вместе со значительной частью мирового сообщества, вдруг, как по мановению руки, появился общий противник. Это анонимная – имена ей дают другие – сила с неопределенными возможностями и малопредсказуемыми стойкостью и жизнеспособностью. Следующей и последней степенью демонстрации этих пугающих качеств, помогающих прежним соперникам смириться с необходимостью сотрудничества, могло бы стать разве что вторжение инопланетян. И пока этот таинственный и зловещий противник не будет опознан, локализован и убедительным для широкой публики образом обезврежен, потенциал партнерства будет сохраняться. Совершенно непредсказуемая сегодня длительность сохранения этого потенциала будет зависеть от убедительности синтетического образа общего врага, в том числе – пригодности этого образа для решения собственных частных проблем (вроде чеченской для России, иракской и др. для США, палестинской для Израиля и т.д.). А это величина, которая в свою очередь зависит от самых разнородных факторов, число которых может оказаться большим, чем могут вообразить даже политические фантасты, не говоря о специалистах. Так или иначе, каким бы ни оказался этот потенциал, события 11 сентября 2001 г. и их последствия сыграли роль алгоритма, выведшего мировую систему из состояния «зависания» – с открытой перспективой.

Новая ситуация неизбежно скажется на самом характере выработки внешней политики в России. Постоянно говорят, что на протяжении большей части 1990-х гг. принятие внешнеполитических решений в России было недостаточно консолидированным. Помимо прочего, это связано с тем, что на рубеже 1980—90-х гг. произошла фрагментация контекстов внешней политики. Имеется в виду появление после распада СССР нескольких мало зависимых друг от друга подсистем принятия решений. Это такие области, как выполнение роли душеприказчика сверхдержавы с ее огромным потенциалом ОМП и системой соответствующих международных обязательств, поддержание жизненно важного для страны экспортного (в первую очередь – топливно-энергетического и сырьевого) комплекса, обязательства по внешним долгам, наполовину оставшимся от СССР, завершение процедуры «развода» на постсоветском пространстве, интеграция РФ в новые экономические и военно-политические системы отношений. Возможно, возникновение «послесентябрьской» ситуации не только создает для России новые серьезные проблемы, но и предоставляет ей новые возможности как внутри каждой подсистемы, так в отношении их комплекса.

Нельзя исключать, что с исчерпанием инерции холодной войны изменится роль военно-стратегической составляющей российской внешней политики, доставшейся ей в наследство от СССР. Перспектива долгосрочной «борьбы с терроризмом», заставляя переосмыслить тему национальной безопасности, может дать этой составляющей новые ориентиры, связанные с более тесным сотрудничеством с нынешними партнерами. Теоретически возрастают в новом контексте перспективы сотрудничества государства с экспортным комплексом. Российское правительство и корпорации в целом объективно заинтересованы в концентрации своих усилий в условиях, когда энергетические ресурсы страны превращаются – хотя бы потенциально – в стратегический фактор глобального значения, становясь объектом заинтересованной политики других государств и международных организаций, в первую очередь – ОПЕК и США. Подсистема обслуживания внешнего долга потенциально становится менее изолированной от других. Во всяком случае, российское правительство получает некоторый шанс перестать быть исключительно пассивным просителем в рамках этой подсистемы, начав увязывать свои позиции в рамках нескольких подсистем в определенные «пакеты». Впервые после распада СССР вопрос об интеграции на постсоветском пространстве должен будет рассматриваться не в рамках практически изолированной подсистемы принятия внешнеполитических решений, а в более широком контексте глобального и регионального сотрудничества. Нынешнее сближение с Западом, которое, насколько можно судить, стимулирует процесс включения России в мировые и европейские организации (вступление в ВТО, переход на новый уровень сотрудничества с ЕС) потребует от российского руководства принципиального выбора между интеграцией с Западом и интеграцией в рамках СНГ или, точнее, синтеза и оптимизации обеих. До сих пор преимущественно вербальный характер той и другой позволял безболезненно «совмещать» обе стратегии, воспринимавшиеся, при этом, как взаимоисключающие. Сегодня конфликтов между ними избегать уже не удастся. Контекст принятия любых «интеграционных» решений сегодня резко усложняется, но это неизбежная плата за переход внешнеполитического планирования из воображаемых миров в реальный. Кто хотя бы раз ходил под парусами и, при этом, хотел куда-то приплыть, хорошо знает, что любой ветер, даже встречный, лучше штиля.

**16. Должна ли  
Россия  
вступать в  
коалицию с  
США?**

Не думаю, что этот вопрос имеет практическое значение и требует от России какого-то ответа. Она уже член антиталибской коалиции, а что касается будущего... Временная коалиция или долгосрочный альянс, но против кого? Против анонимного мирового терроризма? Однако пока это не тот тип конфликта, который требует таких военно-политических форм, какими являются

альянсы и коалиции. Рать (назовем ее коалицией) могут скликать на время более или менее краткосрочного похода против очередного врага, причем каждый раз в необходимом и достаточном именно для данного похода составе. Геополитически Россия вряд ли сможет быть особенно полезной в этом смысле в Сомали или Йемене, и ее чувства могут пощадить, если дело коснется, например, Ирака, где она не до такой степени бесполезна, но, по ряду одинаково серьезных, хотя и разных, причин не является незаменимой. Что касается альянса, то эта форма оправдана в случае, если вырисовывается круг связанных между собой политических противников определенного же круга государств. Однако при всем желании обнаружить такой враждебный круг, симулировать или даже стимулировать его создание пока что нелегко, даже превратив концепцию «столкновения цивилизаций» в идеологию. Скорее, речь сегодня может идти о совокупности международных организаций и форм дву- и многостороннего сотрудничества, в совокупности образующих что-то вроде «антитеррористического Интерпола». Интерпол, между тем, – не совсем то же самое, что Интернационал. Неотразимому обаянию и международно-правовой логике такого «Интерпола» мало кто в сегодняшнем мире сможет сопротивляться, по крайней мере – открыто, и это во многом девальвирует парадигму замкнутых союзов, как долгосрочного решения проблемы борьбы с терроризмом. В действительности в обозримой послеталибской перспективе маячит не коалиция и не альянс, а многоуровневая пирамида «мировой жандармерии». Фактически, таковая существовала уже давно, но сейчас, вероятно, она изменится. Станет более операциональной (по замыслу, но с поправкой на обычаи и нравы бюрократии, особенно – международной и вовлеченной в проекты международного сотрудничества). Более «реалистичной», то есть персонализированной (более откровенное лидерство США, в меньшей степени прикрытое институциональными фасадами ООН, НАТО и т. д.). В принципе – более централизованной при принятии решений на всех уровнях («многополюсная однополярность», предполагающая, как минимум, «консультации» с США перед принятием военно-политических решений даже в «своих» зонах ответственности). И, наконец, главное – универсальной (в смысле отсутствия ей в мире международных альтернатив). Останется лишь доказать, что она окажется в силу всего перечисленного и более эффективной. Пока что антитеррористические спецслужбы США, обреченные на позицию близ вершины пирамиды, если не прямо на ней, основывают свое влияние скорее на общем авторитете своей страны, чем на своем вкладе в его укрепление. Что же, так устроен мир. Не все пойдут служить в такую жандармерию, не всех в нее возьмут – хотя в таких случаях слишком придирчивыми не бывают – и не от всех станут этого настойчиво требовать. Некоторые

страны, вроде Скандинавских и др., оставят, вероятно, в покое, не настаивая ни на чем и не рассчитывая на большее, чем их ставшее уже традиционным участие в текущих миротворческих операциях. От других будут ожидать выраженной активности и ответственности в тех областях, где они могут быть в данный момент полезны.

Не исключаю, что Россию, несмотря на ряд противопоказаний, могут пригласить на службу в такую «жандармерию». Во всяком случае, в текущей ситуации бывший противник США в силу ряда причин оказался более подготовленным для роли, так сказать, «помощника шерифа» в антиталибской кампании, чем многие их традиционные партнеры по одному небезызвестному, значимому еще десятилетие, даже еще четыре года назад, а сегодня малоубедительному союзу. Малоубедительному с точки зрения интересов России. Если ее сближение с ним, не говоря о вступлении в него, сегодня и оправдано, то исключительно в случае, если такие шаги способны будут помешать некоторым нашим бывшим союзникам пытаться использовать его полувековую инерцию и врожденные инстинкты против России. Организационное, а не только символическое сближение с НАТО разумно в том случае, если это так, и в той мере, в какой это так.

Трудно сказать, как в точности могла бы называться роль России в «мировой жандармерии» во главе с США, равно как и то, как будет называться сама эта система. Не надо, однако, сбрасывать со счетов, что «помощник шерифа» – это американизм. Реальности отечественной истории вызвали к жизни другие термины, в том числе такой, как «полицай», в его не немецком, а характерно русском значении.

Нашим согражданам во все времена и при всех режимах мало и плохо объясняли суть радикальных внешнеполитических метаморфоз. Вроде Тильзитского свидания, Бьеркского договора, Брестского мира, пакта «Риббентроп – Молотов» и др. А также таких, как превращение США в одного из наших союзников в 1941 г., в нашего главного врага в 1947 г., в политического собеседника, в 1958 г., в смертельную угрозу миру – в 1962 г., в партнера – во время «детанта» начала 1970-х, в опасного и непредсказуемого соперника – в начале 1980-х., в друга – в разгар перестройки, непонятно в кого – после разворота над Атлантикой и т. п.

Убеждение, что PR власти вообще (а ранее – «агитпроп», гласный и негласный надзор полиции, изначальное доверие народа к любому государю, не запятнавшему себя явными тяжкими преступлениями) принципиально важнее такого частного и вторичного обстоятельства, как объяснение людям смысла происходящего в иностранных делах, не лишено весьма серьезных политико-культурных оснований. Не надо забывать однако, что разделяя, очевидно – не без причин – это убеждение, до 1990-х гг. власти все же не упускали возможности специального доведения до общества своих внешне

политических резонансов: в Высочайших Манифестах, читавшихся с амвона, с помощью далеко не всегда бесталанной проправительственной прессы, наконец, при коммунистах – через механизм закрытых партсобраний и политинформаций. Должно быть, очень разные, мягко говоря, правительства полагали, что в специальных объяснениях с обществом на эту тему был свой особый смысл. В последние десять лет, видимо, считалось, что «классово-однородные» демократические СМИ, доминировавшие в информационном пространстве, способны были самостоятельно обеспечить системную рационализацию и публичную презентацию внешней политики РФ. Как в популярном анекдоте про загулявшего мужа: «Но ты же умная, сама придумай что-нибудь». В меру своих действительных и воображаемых достоинств и недостатков СМИ отчасти действительно выполняли эти функции. Сегодня принимаются решения, которые трудно объяснить, и которые нельзя не объяснять. Их трудно объяснить до появления перспективы вступления с США и другими ныне значимыми субъектами в более системные и юридически обязывающие отношения. В то же время, установление таких отношений едва ли возможно лишь на основе признания со стороны общества авторитета власти «вообще», без понимания не только и не столько его внешнеполитической логики, сколько, если угодно, историософии, как средоточия смыслов, не последние из которых – нравственный и религиозный. Не так важно, что сегодня народ в очередной раз безмолвствует, находясь в состоянии какой-то «апафории» (то ли апатии, то ли эйфории). Несравненно важнее – что он скажет, но еще важнее, что будет делать, когда его устами в очередной же раз как-нибудь вдруг заговорит история.

**17. Но что может выторговать для себя Россия в новой мировой ситуации?**

Сейчас нередко обсуждают, сколько России заплатят за союзничество в борьбе с терроризмом, и долго ли будут платить. Что именно она сможет выторговать для себя, и какой оклад жалованья ей положат в «мировой жандармерии». Чисто теоретически здесь довольно много вариантов. Условно говоря: чуть ли не от нового «плана Маршалла» для России с признанием за ней международно-гарантированной зоны и сферы ответственности (к чему сейчас политически и экономически не готов Запад), чуть ли не до того, что впредь ей придется каждый раз «за кормежку и доброе слово» не раздумывая выхватывать оружие в интересах не вполне четко определенной борьбы с мировым терроризмом, к чему, как я по крайней мере надеюсь, морально не готова Россия. Хотя, может быть, ее еще и просто не возьмут в «команду». Сочтут, справедливо или нет, что она некорректно ведет себя в каких-то ситуациях и т.д., и т.п. В идеале, «выторговать» для себя (военно-политический «торг» – профессиональный долг любой дипломатии) российская

дипломатия должна сегодня покоить волю – и это ее сверхзадача. То есть – мир и максимально возможную свободу рук при взятии на себя посильной и правомерной ответственности за положение дел в мире. Не уклоняясь от выполнения правильно понятых и со всей серьезностью воспринятых международных обязательств, российские власти и российское общество должны четко сформулировать для себя некоторые простые ограничения.

Во-первых, ни при каких обстоятельствах офицеры и солдаты, носящие российский мундир, не должны «сдаваться в аренду», как бы это конкретно ни называлось в той или иной ситуации, то есть не должны выполнять боевые задачи, не оправданные их не вызывающей сомнения связью с защитой российских, и только российских государственных интересов. Этот принцип может показаться в данный момент чрезмерно абстрактным и декларативным. Не забудем, однако, что в ряде стран «третьего мира» – в том числе не самых бедных и нецивилизованных – подобная перспектива рассматривается достаточно прагматически. По формуле: «ваши деньги – наша кровь». И грань, которую «не преjdeши», при желании, как хорошо знает любой студент МГИМО, не так уж сложно размыть в дипломатических формулировках.

Во-вторых, вступая в новые – привлекательные в том или ином смысле – системы отношений, Россия не имеет права демонстративно и немотивированно пренебрегать прежними союзниками и системами союзов. В ситуации, возникшей после 11 сентября, сомнения, помимо всего прочего, вызывает то, что при решении вопроса об участии в антиталибской коалиции не был, насколько известно, использован механизм, предусмотренный Договором о коллективной безопасности, заключенный некоторыми странами СНГ. Не исключено, что в сложной психологической атмосфере паники на грани эйфории (или наоборот) о нем просто забыли. Возможно – это наиболее приличное из возможных объяснений того, что произошло.

В-третьих, втягиваясь в борьбу с мировым терроризмом, Россия должна быть очень внимательной еще к одной грани – той, которая отделяет борьбу с терроризмом, использующим темы исламской культуры, от борьбы с исламским фундаментализмом, не говоря уже о народах, исповедующих ислам. Между тем, создается впечатление, что накопленный в этом отношении в России опыт, не идущий ни в какое сравнение с опытом тех же США, в последние годы быстро утрачивается.

В некоторых отношениях она никогда не переставала и не перестала быть таковой. Однако сегодня в это понятие вкладывается некий дополнительный, не всегда лежащий на поверхности смысл. Вероятно, многим приходилось оказываться в ситуациях, когда в разных частях мира, включая и территории «острова», самые

**18. Возродится ли  
когда-нибудь  
Россия как  
великая держава?**

разные люди в неформальных беседах высказывали сожаления в связи с утратой Россией роли второй мировой державы – оппонента США. Мне, во всяком случае, не раз доводилось слышать нечто подобное даже в странах – ближайших союзниках Соединенных Штатов (но, правда – никогда в Британии). Многих в мире устраивала игра на противоречиях двух сверхдержав, и очень многие хотели бы, чтобы эпоха холодной войны, когда, перефразируя Пастернака, страхи были уже нестрашными, продолжалась до бесконечности. Не отсюда ли несколько преувеличенное разочарование, часто демонстрируемое по поводу неурядиц в стране, в принципе, все же, казалось бы, идущей именно тем курсом, которого от нее и ждут. Вряд ли стоит попадаться на эту удочку наших разочарованных и оскорбленных доброжелателей и «болельщиков» – по-своему вполне искренних и последовательных.

Если же речь идет об экономическом потенциале, обеспечивающем ресурсы, необходимые для проведения независимой политики в тех областях, где это представляется необходимым... Кто может знать это наверняка? Вехами, и то весьма условными, здесь могут быть только какие-то аналогии и прецеденты, если они есть. У всех на слуху примеры послевоенного развития Японии и Западной Германии, а также Европы в целом. Однако в Европе был план Маршалла, а в Японии – некие его системные суррогаты. Возможно, отечественная история последних четырех столетий в этом смысле не менее поучительна. После окончания Смуты, ко времени Деулинского перемирия с Польшей в 1619 году, Россия была не то чтобы слаба, она была дотла разорена и физически обескровлена. Летописец говорит, что после смуты мертвых некому было хоронить. До самого конца столетия Россия старалась не ввязываться в крупные затяжные войны со своими основными и наиболее сильными соперниками. Хотя воевала Россия не так уж редко: с крымцами, турками, она попыталась воспользоваться европейской Тридцати летней войной (Смоленская война), был еще бунт Стеньки Разина и т. д. Однако за это же время, благодаря достаточно умелой внешней политике и инициативе, она присоединила Левобережную Украину и Киев, а также «приросла» Сибирью вплоть до Тихого океана и Китая, в общем-то, по меркам эпохи, почти не воюя. Именно тогда, по возможности уклоняясь от масштабных внешних конфликтов, не проводя агрессивной политики, страна увеличилась больше, чем когда-либо еще в своей истории. Во многом это объясняется, я думаю, тем, что она стала авторитетной и даже привлекательной в глазах соседних сообществ. За восемь десятилетий военно-политического «прозябания» некогда разоренная Россия накопила такой потенциал – в том числе и экономический – что потом непрерывно воевала двадцать один год (это уже – не в качестве образца для подражания) и нанесла такое поражение одной из мощнейших

держав Европы, от которого та уже никогда не смогла оправиться. После смерти Петра I вплоть до Семилетней войны почти разоренное государство вновь минимизировало свои внешнеполитические претензии, особенно на самом опасном направлении – в Европе. Временами казалось, что она вообще не вела какой-то самостоятельной внешней политики, а была лишь вовлекаема в нее, как чей-то союзник. Однако и этот период мира и, как будто, даже некоторого унижения для России, на самом деле обернулся в итоге накоплением сил для последовавших вскоре екатерининских триумфов. Было еще двадцатилетие, когда Россия, по словам кн. А.М. Горчакова, «не сердилась, а сосредоточивалась»... Конечно, во всем сказанном есть некоторая доля вполне сознательной идеализации. Однако моя цель в данном случае состоит не в том, чтобы доказать благотворность периодов относительной «внешнеполитической пассивности» самих по себе (к сожалению, мирный период, включающий царствование императора Александра III и первое десятилетие царствования Николая II, завершился катастрофой). Тем более, она не в том, чтобы убедить в их полезности для подготовки войн. Многое в истории мы сегодня оцениваем не совсем так, или даже совсем не так, как современники событий и их ближайшие потомки. Мне всего лишь хочется показать, что даже не очень благоприятные периоды развития государства то же государство, а также общество могут оборачивать себе на пользу в том ее понимании, которое существует у современников.

**19. Может ли  
демократия  
победить в войне  
с терроризмом и  
при этом выжить?**

Вызов брошен, и мировая полиция может стать в XXI веке таким же вызовом демократиям, их бесом-искусителем, каким в XX был национальный милитаризм. Пока еще нет ни одного серьезного аргумента в пользу однозначно отрицательного ответа на поставленный вопрос. Тем более, что в обозримом будущем возрастет, вероятно, соблазн большей «культурной мобилизации» западных обществ. Возможным свидетельством в пользу такой версии может стать сегодняшняя готовность рассматривать события 11 сентября в контексте «столкновения цивилизаций»... Давая положительный ответ, мы должны, однако, принимать во внимание как высокую жизнеспособность демократии, связанную с ее соблазнительностью для среднего человека в нормальных обстоятельствах, так и ее высокую пластичность, допускающую очень широкий диапазон в трактовках того, что, собственно, в данный момент есть «власть народа, посредством народа и для народа». Такова она даже в тех странах и регионах мира, где возраст ее важнейших институтов исчисляется столетиями.